

Ф. Ницше



УТРЕННЯЯ
ЗАРЯ

Фридрих Ницше

Утренняя заря

«ОМІКО»

1881

Ницше Ф. В.

Утренняя заря / Ф. В. Ницше — «ОМІКО», 1881

Предлагаемая читателю работа знаменитого мыслителя Фридриха Ницше, провидчески названная автором "Утренней зарей", увидела свет в 1881 г. Она во многом стала прологом к окончательному разрыву Ницше со всей предшествующей философией. Это был шаг к созданию мышления, отрицающего старую мораль, к воспеванию человека, находящегося "по ту сторону добра и зла". В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Содержание

Мысли о моральных предрассудках	5
Предисловие	6
1	6
2	7
3	7
4	8
5	8
Книга первая	10
Доисторическое время обычаев и нравственности	10
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	11
8	12
9	12
10	12
11	12
12	13
13	13
14	14
15	14
16	15
17	16
18	16
19	17
20	17
21	17
22	17
23	18
24	18
25	19
26	19
27	19
28	19
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Фридрих Ницше

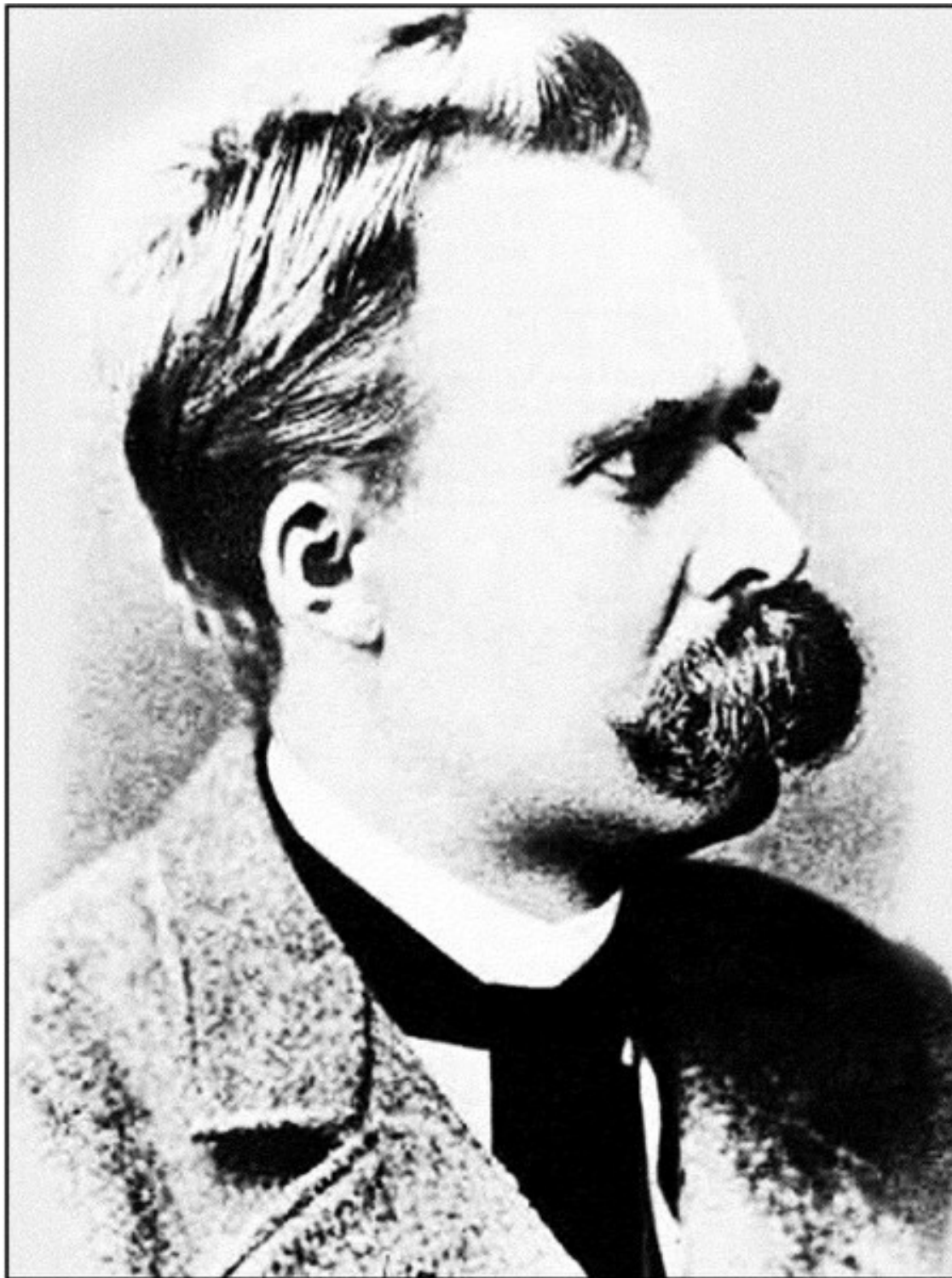
Утренняя заря (Morgenröte)

Мысли о моральных предрассудках

*Есть много утренних зорь,
которые еще не светили.*

Ригведа

Предисловие



1

В этой книге выведен житель подземелья за работой – сверлящий, копающий, подкапывающий. Кто имеет глаза, способные рассмотреть работу на громадной глубине, тот может видеть, как он медленно, осторожно, терпеливо продвигается вперед, не чувствуя слишком

больших неудобств от продолжительного лишения света и воздуха; можно сказать даже, что он доволен своей жизнью и работой во мраке. Не увлекает ли его какая-нибудь вера? Не вознаграждает ли его какое-нибудь утешение? Не переносит ли терпеливо он свой мрак, оставаясь непонятым, неясным, загадочным потому, что он надеется иметь *свое* утро, *свое* искупление, свою *утреннюю зарю*?.. Он вернется сюда, но не спрашивайте его, чего он хочет там, внизу: он скажет вам об этом сам, если он снова сделается человеком, этот мнимый Трофоний, этот житель подземелья. Разучиваются молчанию, когда так долго, как он, бывают в одиночестве, живут как кроты...

2

Действительно, мои терпеливые друзья, я хочу вам сказать, чего я хотел там, внизу, сказать в этом предисловии, которое легко можно назвать последним прости, надгробным словом: я пришел назад и – я пришел *оттуда*. Не думайте, что я буду звать вас на такой же отважный шаг или хотя бы только к такому одиночеству! Кто избрал себе такой путь, тот не найдет спутников. Никто не придет помочь ему; он должен быть готов один на все, что ни встретится ему – опасность, несчастье, злоба, ненастье. Он идет *сам по себе*... и его горечь, его досада состоят в этом «сам по себе»: зачем, например, ему надобно знать, что даже друзья его не могут догадаться, где он, куда он идет? что по временам они будут спрашивать себя, – идет ли он вообще? Тогда предпринял я нечто такое, чего не каждый мог сделать: я спустился в глубину, я начал рыть почву, исследуя ту старую *веру*, на которой мы, философы, возводили здания уже несколько тысячелетий, возводили все снова и снова, несмотря на то, что все эти здания рушились – я начал исследовать нашу *веру* *б мораль*. Вы не понимаете меня.

3

Вопрос о добре и зле разрешался до сих пор самым неудовлетворительным образом: решать его было слишком опасное дело. Привычка, доброе имя, ад не позволяли быть беспристрастным; в присутствии морали нельзя мыслить, еще менее можно говорить: здесь должно – повиноваться. Критиковать мораль, брать мораль как проблему – это признак безнравственности! Но мораль владеет не только всякого рода средствами устрашения, чтобы сдерживать критические руки; ее безопасность заключается еще более в некотором искусстве очаровывать, которым она владеет вполне, – она умеет «вдохновлять». Ей часто удается только одним взглядом парализовать критическую волю; бывают даже случаи, когда она умеет обращать волю против нее же самой и делать из нее скорпиона, вонзающего жало в свое собственное тело. Мораль испокон века обладала нечеловеческим искусством убеждения: не было и нет ни одного оратора, который бы не обращался к ней за помощью (даже анархисты – и те прибегают к морали, когда им надобно себя оправдать; они даже называют себя «людьми добра и справедливости»). С тех пор, как на земле начали говорить и убеждать, мораль постоянно показывала себя величайшей мастерицей оболыщения, – а что касается нас, философов, она была для нас настоящей *Цирцеей*.

В чем же причина того, что все философы, начиная с Платона, трудились напрасно? Отчего все воздвигнутые ими здания грозят разрушиться или лежат уже в руинах, хотя сами они честно и серьезно считали их «прочнее меди твердой». О, как ошибочен ответ, который дают и теперь еще на этот вопрос – «потому что все они упустили из виду испытание фундамента, *критику разума*» – этот роковой ответ Канта не поставил нас, философов, на более твердую или хотя бы на менее зыбкую почву. И не странно ли, *право*, требовать, чтобы орудие само оценивало свою пригодность и свое качество? чтобы интеллект сам «познавал» свою цену, свою границу, свою силу? Не кажется ли это даже немного бессмыслицей?.. Правильным отве-

том было бы то, что все философы строили свои здания, находясь под оболещением морали, в том числе и сам Кант; что они обещали искать «правду», а на самом деле заботились только о том, чтобы построить «*величественные нравственные здания*». Сам Кант простодушно называл свою «не блестящую, но и не лишенную заслуг» задачу и работу средством «уровнять и упрочить почву для *величественных нравственных зданий*» (Критика чистого разума II 257). Увы! это не удалось ему. Даже наоборот!» – можно было бы сказать теперь. С такой фантастической целью Кант был истинным сыном своего времени, которое, более чем всякое другое, было временем химер; таким остался он, к счастью, и в отношении к более ценному явлению своего века – сенсуализму, который он заимствовал в своей теории познания. Его коснулось жало и тарантуловой морали Руссо, в глубине его души лежала мысль морального фанатизма, исполнителем которого был Робеспьер с его *de fondet sur la terre l'empire de la sagesse, de la justice et de la vertu* (Речь 7 июня 1794 г.). И чтобы создать *свое* «моральное царство», он видел себя вынужденным приставить еще недоказанный мир, логическое «по ту сторону», – для этого-то и понадобилась ему критика чистого разума. Говоря иначе, она не нужна была бы ему, если бы ему не потребовалось непременно свое моральное царство сделать недоступным нападкам разума; он чувствовал, что моральный порядок вещей слишком доступен для нападков со стороны разума. Принимая в расчет природу и историю, принимая в расчет отсутствие морали в природе и истории, Кант был, как и всякий хороший немец, пессимистом. Он верил в мораль не потому, что она была доказана природой и историей, а несмотря на то, что природа и история постоянно противоречили ей: *credo, quia absurdum est*.

4

Но моральным феноменом являются не *логические* суждения, а доверие к разуму, отчего зависит признание или отрицание наших суждений... Может быть, немецкому пессимизму предстоит еще сделать свой последний шаг? Может быть, он еще раз роковым образом поставит рядом *credo* и *absurdum*? И эта книга, проникнутая пессимизмом, вплоть до морали, вплоть до доверия к морали, – разве не несет она на себе печати немецкого духа? В действительности, она представляет собой противоречие, и не боится этого: в ней объявляется доверие к морали – почему же? Из способности к морали или, назовите как хотите, то, что совершается в нас! Нет никакого сомнения, что и в нас еще говорит – «ты должен», и мы еще слушаемся строгого закона над нами, и эта последняя мораль нам понятна, о существовании ее мы знаем: не где-нибудь, а именно здесь мы являемся еще *людьми совести*. Но мы оставили то, что отжило, оставили старый идеализм, называйте его как хотите – правдой, справедливостью, любовью к людям, добродетелью; мы сломали мосты к старым идеалам... мы враги вообще всему европейскому *феминизму*, который вечно тянет вверх, но на самом деле вечно толкает вниз. Но как люди совести, мы стоим в родстве с немецкой праведностью и благочестием тысячелетий, будучи потомками, наследниками их и исполнителями их воли, их пессимистической воли, которая не останавливается перед отрицанием самой себя! Если вы хотите точного термина, – в нас совершается *самосохранение морали*.

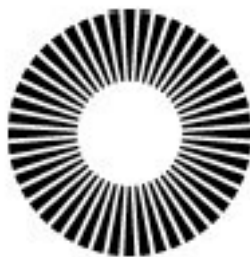
5

Но, наконец, зачем должны мы говорить так громко о том, что мы есть, чего мы хотим и чего не хотим? Будем смотреть на это холоднее, осторожнее; будем говорить, как можно говорить между нами, так тихо, чтобы весь свет не услышал этого, чтобы весь свет не услышал нас... Прежде всего, будем говорить *медленно*... С такой книгой, с такой проблемой нет надобности торопиться; кроме того, мы оба – и я, и моя книга, – друзья медлительности. Не напрасно мы были филологами, не напрасно мы были учителями медленного чтения, – нако-

нец, мы и пишем тоже медленно. Теперь это сделалось не только моей привычкой, но и вкусом – может быть, дурным вкусом? Филология именно то заслуживающее уважения искусство, которое от своего почитателя требует прежде всего одного: идти стороной, давать себе время, быть тихим, медленным, как ювелирное искусство *слова*, которое исполняет только тонкую, осторожную работу и которое может испортить все, если будет торопиться. Именно потому оно теперь необходимее, чем когда-нибудь, именно потому-то оно влечет и очаровывает нас, в наш век «работы», век суетливости, век безумный, не щадящий сил поспешности, – век, который хочет успеть все и справиться со всем, с каждой старой и с каждой новой книгой. Филология не так быстро успевает все – она учит читать *хорошо*, т. е. медленно, всматриваясь в глубину смысла, следя за связью мысли, улавливая намеки, видя всю идею книги как бы сквозь открытую дверь... Мои терпеливые друзья! эту книгу могут читать только опытные читатели и филологи: выучитесь же хорошенько читать!..

Рута, близ Генци.

Осень 1886 года.



Книга первая

Доисторическое время обычаев и нравственности

1

Дополнительная разумность. Все вещи, которые долго живут, до того проникаются мало-помалу разумом, что становится невероятным их происхождение от неразумного. Не отзывается ли для чувства парадоксом и дерзостью каждая точная история происхождения? Не противоречит ли постоянно в самом принципе хороший историк?

2

Предубеждение ученых. Правильно убеждение ученых, что люди всех времен думали, что они знают, что такое добро и зло, что похвально и что достойно порицания. Но предубеждение ученых состоит в том, что мы *теперь* будто бы знаем это лучше, чем знали когда-либо прежде.

3

Все имеет свое время. Когда человек давал *пол* всему сущему, он не думал, что он играет, но предполагал, что он приобрел глубокую проницательность; чудовищность этой ошибки он понял позднее, но может быть и теперь еще не вполне. Точно так же человек все поставил в связь с моралью и повесил миру на плечи этическое значение.

4

Будьте благодарны. Великий продукт современного человечества состоит в том, что мы не испытываем теперь постоянного страха перед дикими зверями, варварами, богами, сновидениями.

5

Фокусник и его антипод. То, чему мы удивляемся в науке – противоположно тому, чему мы удивляемся в искусстве фокусника. Фокусник обманывает тем, что показывает простую причинность там, где, в действительности, существует причинность очень сложная; наука, напротив, заставляет нас верить в сложность причинности там, где все так легко понятно. «Самые простые» вещи *очень сложны*. – Удивительно!

6

Чувство пространства. Что больше содействует счастью человека – действительные или представляемые вещи? Известно, что *расстояние* между самым высоким счастьем и самым глубоким несчастьем измеряется с помощью представляемых вещей. Следовательно, чувство пространства такого рода все уменьшается под влиянием науки, так как мы узнали от нее, насколько мала Земля, и саму Солнечную систему мы представляем себе точкой.

7

Понятие нравственности обычаев. Сравнительно с образом жизни целых тысячелетий мы, теперешние люди, живем в очень безнравственное время: сила обычаев поразительно ослаблена, и чувство нравственности так утончено и так приподнято, что положительно можно назвать его окрыленным. Поэтому нам, позднейшим, трудно становится усмотреть самые корни происхождения морали, а если и удастся это сделать, язык прилипает к гортани, с языка не сходят слова, потому что они звучат слишком грубо! или потому, что они, как нам кажется, оскорбляют нравственность! Например, вот главное положение старых времен: нравственность не что иное (или не *более*) как подчинение обычаям, каковы бы они ни были; обычаи – традиционный способ действий. В тех случаях, где традиция не повелевает, нет нравственности; и чем меньше определяется жизнь традициями, тем меньше становится круг нравственности. Свободный человек безнравствен, потому что во всем он хочет зависеть от себя, а не от традиции. Во всех первобытных состояниях человечества слово «порочный» было равнозначуще слову «индивидуальный», «свободный», «независимый». Если совершалось какое-нибудь действие не потому, что *так* повелевала традиция, а в силу других мотивов (напр., ради индивидуальной пользы), такое действие считалось безнравственным; так оно и понималось даже самим его совершителем: ибо оно совершено с нарушением традиции. Что такое традиция? Высший авторитет, которому повиновались потому, что он приказывал, хотя бы в этом и не было пользы для нас. Чем отличается это чувство, которое испытывается перед традицией, от чувства страха вообще? Это – страх пред высшим интеллектом, который повелевает нами; перед непонятной, неопределенной силой, перед чем-то большим, чем простая личность, – это *суеверие* в страхе. Первоначально и воспитание и медицина, и брак и гигиена, и земледелие и война, и разговор и молчание, общение людей и между собою и с богами, – все принадлежало области нравственности: тогда требовалось, чтобы соблюдали предписания, не обращая внимания на *себя*. Первоначально все было обычаем, и кто хотел стать выше этого, тот должен был сделаться законодателем, волхвом, полубогом, т. е. он должен был *создавать обычаи*, – вещь страшная, сопряженная с опасностью для жизни! Какой человек самый нравственный? Во-первых, тот, кто наиболее часто исполняет закон, т. е. подобно брамину, всюду в каждую минуту носит с собой сознание этого, так что при каждом удобном случае исполняет закон. Во-вторых, тот, кто исполняет закон в самых тяжелых обстоятельствах. Самый нравственный тот, кто больше всего *приносит жертвы* обычаю. Какая – наибольшая жертва? Из ответов на этот вопрос выделится несколько различных моралей, но важнейшим различием остается все-таки то, которое устанавливает два вида нравственности – нравственность *наиболее частого исполнения* закона и нравственность *исполнения* закона в *наиболее трудных случаях*. Не надобно обманываться о мотиве той морали, которая требует исполнения наиболее трудных законов как признака нравственности! Самообладание требуется не ради его полезных целей, которое оно имеет для индивидуума, а потому, что обычай, традиция является, вопреки всем индивидуальным выгодам, и требует, чтобы отдельная личность принесла себя в жертву, – такова нравственность обычаев. Напротив, те моралисты, которые идут по сократовским следам, и считают мораль самообладания и воздержания выгодной для самого индивидуума, ключом к его личному счастью, составляют исключение: они идут по новой дороге при явном нерасположении всех представителей нравственности обычаев; они исключаются из общины, как безнравственные. Так, римлянам христиане казались вредными потому, что они заботились прежде всего о спасении *своей* души. Всюду, где есть община и, след., нравственность обычаев, там господствует мысль, что за оскорбление обычаев наказание постигает прежде всего общину, – то сверхъестественное наказание, границу которого так трудно определить и которое принимается с таким суеверным страхом. Община может принудить индивидуума, чтобы он заплатил за

тот ближайший вред, который нанесен его поступком отдельному лицу или общине; она может также мстить индивидууму за то, что по его вине над общиной разразился гнев Божий, однако она сознает вину индивидуума *своей* виной, и несет его наказание как свое наказание: «нравы стали распутнее, если стали возможны такие поступки». Каждое индивидуальное действие, каждый индивидуальный образ мыслей возбуждает страх. Невозможно перечислить, сколько вынесли в течение всей истории эти редкие умы, которые считались порочными и опасными, и *которые сами себя считали такими*. Под властью такой нравственности все оригинальное считалось порочным.

8

Взаимное уничтожение понимания нравственности и понимания причинности. В какой мере растет понимание причинности, в такой же мере уменьшаются границы царства нравственности. Всякий раз, как поймут необходимые следствия, отделят их от всех случайностей и сумеют судить обо всех возможных *posthoc*, этим тотчас же разрушат бесчисленное множество *фантастических причинностей*, в которые прежде верили как в основы нравственности (действительный мир гораздо меньше фантастического); а лишь только из мира исчезнет боязливость и принуждение, – исчезнет и авторитет обычаев.

9

Народная мораль и народная медицина. Над моралью, господствующей в общине, непрерывно работает каждый. Большинство накапливают примеры на примеры для принятых отношений причин и следствий, вины и наказания, подтверждая, что этот порядок хорошо обоснован, – и вера их увеличивается. Другие проводят новые наблюдения над действиями и следствиями их, выводят из этого заключения и законы. Меньшинство находит и здесь и там недостатки и теряет веру. Но деятельность всех их одинаково груба и ненаучна: идет ли дело о примерах, наблюдениях, сомнениях или о доказательствах, подтверждениях, возражениях закону, – это ничего не стоящий материал и ничего не стоящая форма, как материал и форма всякой народной медицины. Народная медицина и народная мораль стоят близко друг к другу и заслуживают одинаковой оценки.

10

Следствие как прибавление. В древности думали, что результат какого-нибудь дела не есть простое следствие, а *прибавка*, приходящая извне, и именно от богов. Мыслимо ли большее заблуждение! Надобно было стараться о деле, а о результате – особенно, с совершенно различными средствами и приемами!

11

К новому воспитанию человеческого рода. Помогите, здравомыслящие, удалить понятие наказания, которое завладело всем миром! Нет более вредных плевел! Его не только сделали следствием нашего образа действий – как страшно и нелогично уже одно это: понимать причину и следствие как причину и наказание, – но сделали больше: всю чистую случайность совершающегося лишили ее невинности ради этого проклятого искусства толкования понятия наказания...

12

Сумасшествие в истории нравственности. Если несмотря на тот ужасный гнет нравственности обычаев, под которым начало жить человечество еще за несколько тысячелетий до нашей эры, если несмотря на это постоянно возникали все новые и новые мысли, взгляды, цели, то происходило это под страшным сопутствием: почти всюду дорогу новым мыслям прокладывало сумасшествие и оно же ломало и уважаемые обычаи и суеверия. Понимаете ли вы, почему это должно было быть сумасшествием? Почему в голосе и лице человека должно было быть что-нибудь страшное и бурное, как *демонические* прихоти бури или моря и потому внушающие уважение и страх! Почему он должен был носить на себе печать полного безволия, как судороги эпилептика, представляющие безумного как бы говорящим голосом Божества! Сам носитель новой мысли испытывал уважение и страх перед самим собою, и его неудержимо влекло быть пророком этой идеи и мучеником за нее! Древние думали, что всюду, где есть сумасшествие, есть и гений, и мудрость – вообще есть нечто «божественное» или, как они выражались прямее и резче, – «сумасшествие дало Греции величайшие блага» – так говорил Платон со всем старым человечеством! Сделаем еще один шаг дальше. Всем тем сильным людям, которых неудержимо влекло к тому, чтобы сбросить иго старой нравственности и дать новые законы, ничего не оставалось другого, как сделаться или казаться сумасшедшими, *если они не были в действительности такими*, и таково было положение новаторов во всех областях жизни, а не только жрецов и политиков! – даже реформатор поэтического размера должен был показаться сумасшедшим! Даже в более цивилизованные времена за поэтами еще сохранялась репутация сумасшедших: этим воспользовался, напр., Солон, когда подстрекал афинян к завоеванию Саламина. Как сделаться сумасшедшим тому, кто на самом деле не сумасшедший, и у кого не достает смелости казаться таким? Этой странной задачей интересовались почти все значительные люди древнейших цивилизаций, существовала целая тайная наука приемов. Один и тот же рецепт был и у индусов для того, чтобы сделаться фокусником, и у гренландцев – чтобы сделаться ангекоком, и у бразильцев – чтобы сделаться пайе: посты, продолжительное половое воздержание, жизнь в пустыне, на горе или просто не думать ни о чем таком, что могло бы волновать или расстраивать. Кто отважится взглянуть в пустыню горьких и страшных душевных мучений, в которой томились самые плодотворные люди всех времен! Послушайте только вздохи этих пустынников! «Ах, дайте мне безумие, боги! безумие, чтобы я уверовал в самого себя! дайте мне конвульсии и бред, сменяйте мгновенно свет и тьму, устрашайте меня холодом и зноем, какого не испытывал еще ни один смертный; устрашайте меня шумом и блуждающими тенями, заставьте меня выть, визжать, ползать по земле, – но только дайте мне веру в себя! Сомнение терзает меня!... Новый дух, который во мне, – откуда он, если не от вас? покажите же мне, что я – ваш; только безумие докажет мне это». И эта мольба часто достигала своей цели.

13

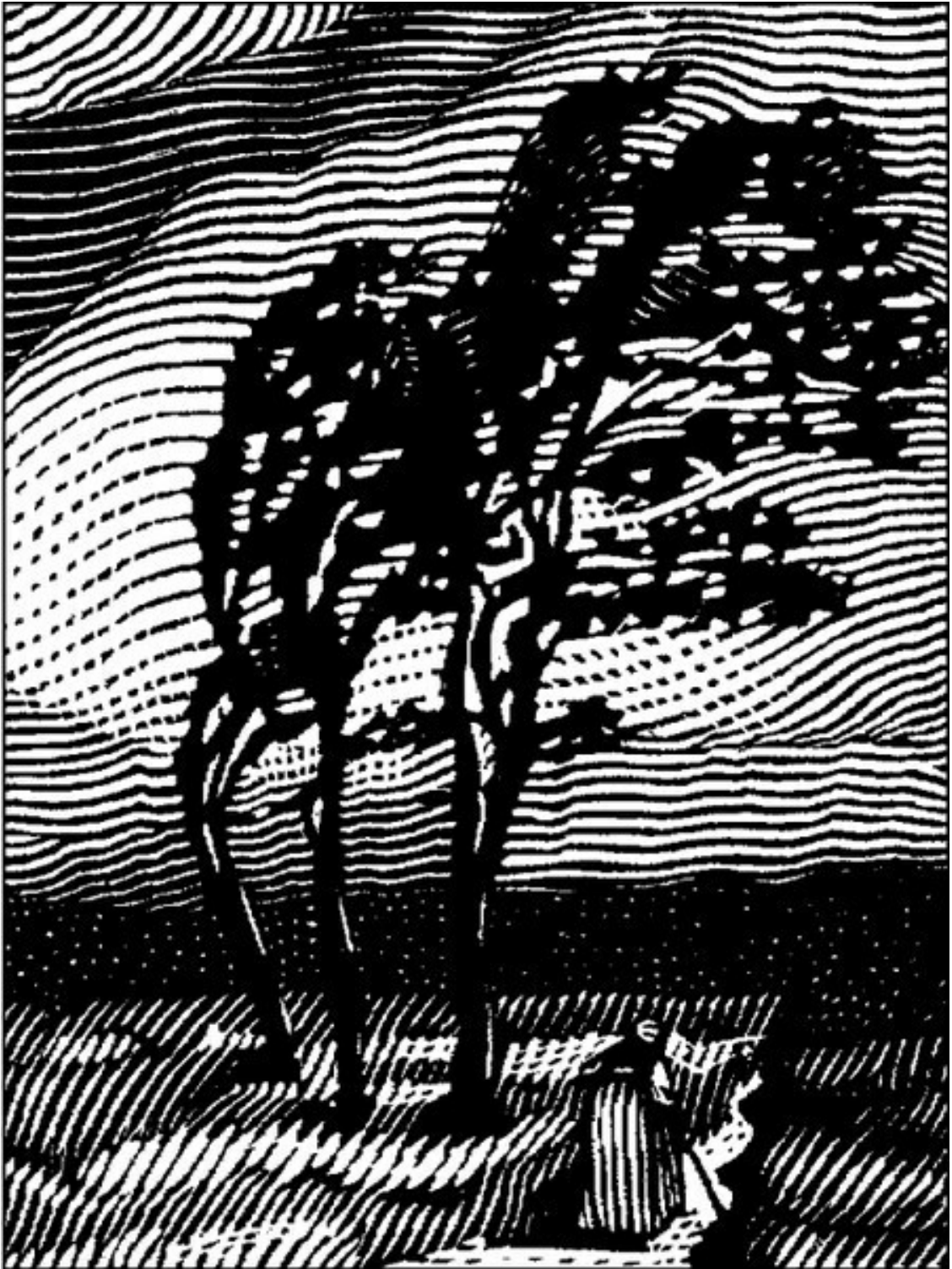
Древнейшее средство утешения. Первая ступень: человек видит в каждой болезни, в каждой неудаче нечто такое, за что он должен мстить кому-нибудь другому; при этом он чувствует еще в себе силу, и это утешает его. – Вторая ступень: человек видит в каждой болезни, в каждом несчастье наказание, т. е. очищение от греха и средство освободиться от злых чар действительной или воображаемой несправедливости. Видя такую выгоду, которую приносит с собою несчастье, он уже перестает думать, что за это надобно мстить другим, – он освобождается от такого рода удовлетворения, потому что для него есть удовлетворение другое.

14

Первое положение цивилизации. У диких народов есть обычаи, цель которых состоит, кажется, лишь в том, чтобы у народа был только обычай вообще. Это тяжелые и, в сущности, лишние законы: напр., камчадалы никогда не очищают снега с обуви ножом, не кладут железа в огонь: за нарушение этого полагается смерть. Такой факт подтверждает только великое положение, с которым вступает в историю цивилизация: лучше, чтобы народ имел какой бы то ни было обычай, чем чтобы не имел никакого.

15

Добрая и злая природа. Сначала человек придумал вмешаться в жизнь природы: всюду он видел себя и себе подобных, именно свой злой капризный характер: и в облаках, и в бурях, и в хищных зверях, и в деревьях, и в травах. Тогда-то он и нашел «злую природу». Потом настало время, когда он отделил себя от природы, время Руссо: люди так надоели друг другу, что захотели непременно иметь такой уголок мира, куда человек не приходит со своими терзаниями. Тогда изобрели «добрую природу».



16

Мораль добровольного страдания. Какое может быть высшее наслаждение для людей той маленькой, воинственной, постоянно находящейся в опасности общины, где царит самая строгая нравственность? А также для ее сильных, мстительных, злобных, коварных, хитрых душ, готовых на все самое страшное и закаленных лишениями и нравственностью? *Наслаждение жестокости!* В таком культурном состоянии добродетелью души считается изобретательность и ненасытность в жестокости; деянием жестокого наслаждается община, в ней черпает

она свою энергию и силу. Жестокость принадлежит к древнейшим праздникам человечества. Тогда думали, что даже и боги наслаждаются и радуются жестокими сценами, устраиваемыми человеком, – и таким путем незаметно проникло в мир представление, что *добровольное страдание*, самоистязание имеет какую-то цену. Мало-помалу в общине возникают обычаи, соответствующие такому представлению: при всех слишком больших удачах человек впадал в страх и сомнение, а при несчастиях он становился увереннее: может быть, говорили себе, боги разгневаются на нас за наше счастье и милостиво отнесутся к нам за наше несчастье. Не сострада-тельно, а *милостиво!* Сострадание презирается тогда и считается недостойным сильной и грозной души. Таким образом, в понятие «нравственного человека» общины входит добродетель частого страдания, лишения, суровой жизни, жестокого самобичевания; но, заметьте опять, все это считается нужным не как средство для воспитания, самообладания, поисков личного счастья, но как *добродетель*, угодная богам, как жертва очищения, постоянно требуемая для их алтаря. Все те духовные руководители народов, хотевшие достигнуть какой-нибудь цели, нуждались, кроме безумия, также и в добровольном истязании, чтобы найти доверие к себе, а главным образом и прежде всего, как и всегда, веру в самих себя. Чем дальше шел их дух по новому пути и, след., чем больше мучались они угрызениями совести и страхами, тем больше неистовствовали они против своего собственного тела, своих похотей, своего здоровья, – чтобы предложить божеству вознаграждение на тот случай, если ему не понравится пренебрежение к старому и стремление к новым целям. Вполне ли освободились мы сами от такой логики чувства? Пусть спросят об этом себя наиболее героические характеры! Каждый малейший шаг на поле свободного мышления самостоятельно устроенной жизни всегда приобретается ценою душевных и телесных страданий. Не только ход *вперед*, нет! самый ход, движение, перемена имели своих бесчисленных мучеников, особенно много бывало их в переходные, основополагающие, столетия. Конечно, когда говорят о «всемирной истории», не думают о них, об этом до смешного малом отрезке человеческого существования. И даже в этой так называемой всемирной истории, которая, в сущности, представляет только крик о последних событиях, нет более важной темы, как древняя трагедия мучеников, которые *хотели всколыхнуть болото*. Ни за что не заплачено было так дорого, как за ту малую частицу человеческого ума и чувства свободы, которая теперь составляет нашу гордость. Но эта же гордость делает почти невозможным для нас вспомнить те громадные эпохи «нравственности обычаев», которые предшествовали «всемирной истории» и, будучи *действительной и решающей главной историей, создали характер человечества*. Там страдание было добродетелью, добродетелью была жестокость, добродетелью было притворство, добродетелью была месть, добродетелью было сокрытие ума; там счастье было опасно, опасна была жажда знания, опасен был мир, опасно было сострадание; сделаться предметом сострадания там было позором, и позором был труд; безумие там считалось нисходящим от богов! Изменилось ли это, и изменило ли человечество свой характер?

17

Нравственность и оупение. Обычай есть результат опыта прежних поколений в вопросе о том, что полезно и что вредно. Но приверженность к обычаю не имеет никакого отношения к опыту как таковому: она объясняется древностью, святостью, неприкосновенностью обычая. И эта приверженность всегда мешала делать новые опыты и исправлять обычаи, т. е. нравственность препятствовала возникновению новых лучших обычаев: она *оупляла*.

18

Свободно поступающий и свободно мыслящий. Свободно поступающие оказываются внакладе против свободомыслящих, так как люди больше страдают от последствий поступков, чем

мыслей. Но если вспомнить, что и те и другие стремятся к своему удовлетворению, и что свободомыслящим доставляет удовлетворение мыслить и высказываться о запрещенных вещах, то в отношении мотивов они уравниваются. То же можно сказать и в отношении последствий, при том условии, если судить не по ближайшей и грубой реальности, т. е. не так, как судят все. Надобно многое отнять из клеветы, которой люди очерняли всех тех, кто своими действиями ломали обычаи. Каждый, кто ниспровергал существующий обычай, сначала постоянно считался *дурным человеком*, но потом, если не могли восстановить ниспровергнутый обычай и удовлетворились новым, то предикат мало-помалу изменялся: история говорит почти об этих только *дурных людях*, которые позднее называются *хорошими*.

19

Исполнение закона. В случае, если исполнение морального предписания дает другой результат, чем было обещано и ожидалось, и приносит нравственным людям не обещанное счастье, а несчастье и беспомощность, то всегда возможна для мнительного и добросовестного человека оговорка: «здесь была какая-нибудь ошибка в *исполнении*». В крайнем случае глубоко страдающее и разбитое человечество постановит даже: «невозможно точно исполнить предписания, мы слишком слабы и грешны и неспособны к нравственности; поэтому мы не имеем права на счастье и успех. Нравственные предписания и обещания даны для существ лучших, чем мы».

20

Дела и вера. Протестантские учителя говорят, что все заключается в вере, и что из веры необходимо должны следовать и дела. Это совершенно неверно, но звучит так соблазнительно, что обмануло не только Лютера, но и других, в том числе Сократа и Платона, хотя очевидность ежедневных фактов говорит против этого. Самое достоверное знание или вера не могут дать ни силы к делу, ни опытности в нем. Ни знание, ни вера не могут заменить работу тонкого и сложного механизма, которая должна совершиться для того, чтобы представление перешло в действие. Прежде всего и важнее всего дела! Дела и дела! А нужная для этого «вера» – будьте уверены – явится.

21

В чем мы наиболее развиты. Вследствие того, что в течение нескольких тысяч лет все вещи считались одушевленными и одухотворенными, могущими вредить человеку, то чувство бессилия среди людей развито было гораздо сильнее и встречалось гораздо чаще, чем это должно бы быть. Необходимо было овладеть вещами – как людьми, так и зверями – силой, принуждением, лестью, договорами, жертвами, – отсюда ведет свое происхождение большинство суеверных обрядов, т. е. значительная, может быть, преобладавшая и все-таки бесполезная, даром потраченная часть, человеческой деятельности. Но так как чувство бессилия и страха было в таком долгом и почти непрерывном напряжении, то у человека развилось такое тонкое и такое щекотливое чувство власти, точно самые чувствительные весы для золота. Оно сделалось его сильнейшей страстью.

22

Оценка предписания. Судить о том, хорошо или дурно предписание, напр., предписание печь хлеб, можно только по тому, получается обещанный результат или нет; конечно, при условии точного исполнения. Иначе обстоит дело с моральными предписаниями: здесь нельзя

видеть результатов. Эти предписания основываются на гипотезах наименьшей научной ценности, когда доказать или опровергнуть результаты, в сущности, одинаково невозможно. Но прежде, в эпоху невежества и небольших требований, предъявляемых к доказательству истинности слов, оценка хорошего или дурного предписания обычаев устанавливалась так же, как и теперь устанавливается оценка каждого предписания – указанием на пользу. Если у каких-нибудь дикарей Америки существует предписание: «нельзя кости животных бросать в огонь или отдавать собакам», – оно доказывается так: «сделай вопреки этому закону, – и ты увидишь, что тебе не будет счастья на охоте». Трудно таким путем оспаривать пользу предписания, особенно, если носителем наказания за нарушение предписания является целая община, а не отдельный человек; короче говоря, здесь всегда можно отыскать какое-нибудь обстоятельство, которое, по-видимому, говорит в пользу предписания.

23

Обычай и красота. В пользу обычая надобно сказать, что у всех, кто преданы ему вполне и от чистого сердца, исчезают органы для нападения и для защиты – как духовные, так и телесные, т. е. эти субъекты становятся заметно красивее! Упражнение же этих органов и соответствующих этому мыслей имеют в себе нечто некрасивое и делает человека некрасивым. Потому-то старый павиан некрасивее молодого, а молодая самка павиана очень похожа на человека, т. е. очень красива. Отсюда можно сделать заключение о происхождении красоты женщин!

24

Животные и мораль. Люди успеха! Заботливое желание избежать всего смешного, бросающегося в глаза; дерзкого; утаивание своих добродетелей и наиболее сильных страстей, умение казаться равным с другими, сдерживать себя, – все это, как общественную мораль, можно найти в грубом виде, и в самом низком животном царстве. Но только здесь мы видим подоплеку этих красивых приемов: ускользнуть от преследователя и обеспечить себе добычу. Для этого животные приучаются владеть собой и так притворяться, что некоторые, напр., меняют свой цвет сообразно с цветом окружающей среды (в силу так называемых «хроматических функций»); они умеют казаться мертвыми; принимать форму и цвет другого животного, песка, листьев, гриба, лишая (то, что английские исследователи называют *mimicry*). Так и отдельный индивидуум теряется среди общего понятия «человек» или среди общества, стараясь держаться мнения партии, к которой он принадлежит. Даже и то чувство правды, которое, в сущности, есть чувство безопасности, у человека одинаково с животными: не хотят отдаться в обман, боятся обмануться сами, недоверчиво слушают голоса собственной страсти, насилуют себя, стоят настороже против самих себя: все это животное делает так же, как и человек, – и у животного из чувства действительности (из благоразумия) развивается самообладание. Животное точно так же наблюдает, какое действие оно производит на других зверей, отсюда учится оно наблюдать за собой, смотреть на себя «объективно», и доходит, таким образом, до некоторой степени самосознания. Животное судит о действиях своих врагов и друзей, оно запоминает их характерные свойства, оно приравнивается к ним; против одних оно ведет постоянную борьбу, с другими оно сходится с намерениями мира и договора. Начала справедливости, благоразумия, умеренности, храбрости, – короче все, что мы именуем *сократовскими добродетелями*, можно найти в животном мире, и составляет результат стремлений – найти пищу и избежать врага...

25

Вера в сверхчеловеческие страсти. Институт брака упорно поддерживает веру, что любовь, хотя и страсть, однако как таковая способна продолжаться долго, и что любовь, продолжающуюся всю жизнь, можно считать даже правилом. Ценность этой благородной веры, несмотря на то, что благодаря очень частым и почти обыкновенным противоречиям, она сделалась *pi a fraud*, дала любви высокое благородство. Все институты, которые дали страсти веру в их продолжительность, и которые ручаются за ее продолжительность вопреки самому свойству страсти, дали ей новое положение: тот, кто бывает охвачен страстью, не считает это, как прежде, унижением и опасностью для себя, наоборот, он возвышается в своих глазах и в глазах себе подобных. Вспомните об институтах и обычаях, создавших из возбуждения минуты – вечную верность, из искры гнева – вечную месть, из отчаяния – вечный траур, из мимолетного, единого слова – вечное обязательство: отсюда масса лести и лжи в мире, так как все это по силам существу *сверхчеловеческому*; это-то и возвышает человека!

26

Расположение как аргумент. Что бывает причиной смелой решимости к делу? Этот вопрос часто занимал людей. В древности отвечали: причиной этой решимости служит Бог; этим Он дает нам понять, что Он согласен с нашей волей. Когда спрашивали оракула о каком-либо предприятии, от него хотели получить большую решимость к делу. И когда человеку представлялся выбор между несколькими действиями, он отвечал на эти сомнения так: «я буду делать то-то, потому что к этому лежит мое сердце». След., делали выбор, руководствуясь не рассудком, а тем, что в глубине души человека таились расположение к данному поступку и надежда на успех. Расположение было на чаше весов в качестве аргумента и перетягивало рассудочность; а иногда суеверие заставляло считать расположение внушением, исходящим от сверхъестественной силы, которой обещался успех делу. Представьте теперь, какие последствия могли произойти от этого предрассудка! Им можно было заменить все доводы и победить все возражения!

27

Актеры добродетели. Среди людей древности, прославившихся своей добродетелью, было, как кажется, очень много таких, которые актерствовали перед самими собой; греки, как прирожденные актеры, делали это, вероятно, совершенно произвольно, и находили это хорошим. Здесь каждый *состязался* своей добродетелью с добродетелью другого и всех других: как не применить было здесь всех искусств для того, чтобы выставить свою добродетель прежде всего перед самим собой, уже ради упражнения только! Какая польза от добродетели, которую нельзя показать, или которая не умеет показать себя! Этих актеров уничтожило христианство.

28

Утонченная жестокость в роли добродетели. Вот нравственность, которая всецело покоится на желании отличиться. Что собственно это за желание, и какова ее задняя мысль? Хочется нам сделать так, чтобы вид наш доставлял другому страдание и возбуждал в нем зависть, заставляя его чувствовать свое бессилие и унижение; нам хочется заставить его почувствовать горечь его судьбы и, капая на его язык каплю *нашего* меда, прямо и злорадно смотреть ему в глаза при этом мнимом благодеянии. Вот человек скромный, – но поищите, и вы, наверное, найдете людей, которым он старается причинить этим самым пытку. Другой выказывает

сострадание к животным и служит предметом удивления, – но есть люди, которым он старается причинить страдание именно этим своим свойством. Вот стоит великий художник: наслаждение, которое испытывает он, зная зависть побежденных соперников, дает энергию его силам и помогает ему сделаться великим: скольких горьких минут стоило другим его величие! Непорочность монахини: какими глазами смотрит она в лицо других женщин!.. Тема не велика, но вариантов можно набрать без числа, и это следовало бы сделать, так как парадоксальна и нова мысль, что мораль отличия, в последнем основании своем, имеет наслаждение от утонченной жестокости. В последнем основании – это должно обозначать здесь «в первом поколении». Если привычки передаются по наследству, то задняя мысль не наследуется, так как наследственностью передаваться может только чувство, а не мысль. Таким образом, во втором поколении наслаждение, получаемое от жестокости, исчезнет, если оно не будет вновь развито воспитанием; останется только одно наслаждение, получаемое от привычки. Это наслаждение первая ступень к «добру».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.